

ЖАН КОКТО

*УЖАСНЫЕ ДЕТИ
АДСКАЯ МАШИНА*



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44
К59

Серия «Эксклюзивная классика»

Jean Cocteau
LES ENFANTS TERRIBLE
LA MACHINE INFERNALE

Перевод с французского
Н. Шаховской («Ужасные дети»),
С. Бунтмана («Адская машина»)

Серийное оформление *Е. Фerez*

Компьютерный дизайн *А. Чаругиной*

Печатается с разрешения Lester Literary Agency.

Кокто, Жан.

К59 Ужасные дети. Адская машина / Жан Кокто ; [перевод с французского Н. Шаховской, С. Бунтмана]. — Москва : Издательство АСТ, 2019. — 224 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-114571-2

«Ужасные дети» — одно из ключевых и наиболее сложных произведений Кокто, о которых по сей день спорят литературоведы. Многослойная и многоуровневая история юных брата и сестры, отвергнувших «внешний» мир и создавших для себя странный, жестокий и прекрасный «мир Детской», существующий по собственным законам и ритуалам. Герои романа — Поль и Элизабет — с детства живут по правилам собственной игры, от которой ничто не может их отвлечь. И взрослея, они продолжают жить в своем мире, который обречен на столкновение с миром реальным...

Также в сборник входит знаменитая пьеса «Адская машина».

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-17-114571-2

© Editions Grasset & Fasquelle, 1929, 1953
© Перевод. С. Бунтман, 2019
© Издание на русском языке AST Publishers, 2019

УЖАСНЫЕ ДЕТИ

ЧАСТЬ I

Квартал Монтье зажат между улицами Амстердам и Клиши. С улицы Клиши в него можно попасть через решетчатые ворота, а с улицы Амстердам — через всегда открытый сводчатый проход большого дома, по отношению к которому Монтье представляет собою самый настоящий внутренний двор — длинный, с небольшими особнячками, притаившимися у подножия высоких безликих стен. Эти особнячки с зашторенными стеклянными мансардами, должно быть, принадлежат художникам. Так и представляешь себе, что внутри они все увешаны старинным оружием, парчой, полотнами, на которых запечатлены кошки в корзинках, семьи боливийских министров, и мэтр проживает здесь инкогнито — знаменитый, утомленный государственными заказами и наградами, хранимый от всякого беспокойства провинциальной тишиной подворья.

Но дважды в день, в половине одиннадцатого утра и в четыре вечера, тишина взрывается. Ибо открываются двери маленького лица Кондорсе

напротив дома 72-бис по улице Амстердам, и школьники превращают подворье в свой плацдарм. Это их Гревская площадь. Что-то вроде площади в средневековом понимании, что-то вроде двора чудес, любви, игр; рынок шариков и почтовых марок; трибунал, где вершится суд и казнь; место, где хитроумные заговоры предшествуют тем возмутительным выходкам в классе, продуманность которых так удивляет учителей. Ибо пятиклассники ужасны. На следующий год они будут ходить в шестой класс на улице Комартен, презирать улицу Амстердам, разыгрывать какие-то роли и сменят сумку (или ранец) на четыре книги, завернутые в ковровый лоскут и стянутые ремешком.

Но у пятиклассников пробуждающаяся сила еще подчинена темным инстинктам детства. Инстинктам животным, растительным, проявления которых трудно уловить, потому что в памяти они удерживаются не прочнее, чем какая-нибудь минувшая боль, и потому что дети умолкают при виде взрослых. Умолкают, принимают защитные позы иных царств. Эти великие лицедеи умеют мигом ошетиниться, подобно зверю, или вооружиться смиренной кротостью растения и никогда не открывают темных обрядов своей религии. Мы знаем разве только то, что она требует хитростей, даров, скорого суда, застрашивания, пыток, человеческих жертвоприношений. Подробности остаются невыясненными, и у посвященных есть свой язык, которого не понять, даже если вдруг незаметно их подслушать. Какие только сделки не оплачиваются марками и агатовыми шариками! Дары оттопыривают карманы вождей и полубогов, крики — при-

крытие тайных собраний, и мне кажется, если бы кто-нибудь из художников, законопатившихся в роскоши, отдернул штору, он не нашел бы в этой молодежи сюжета для жанровой сценки в излюбленном им роде под названием «Трубочисты, играющие в снежки», «Игра в пятнашки» или «Шалуны».

В тот вечер, о котором пойдет речь, шел снег. Он начал падать накануне и легко и естественно воздвигал иную декорацию. Квартал отступал в глубь времен; казалось, снег, изгнанный с благоустроенной земли, ложится и скапливается только там и больше нигде.

Школьники, возвращаясь в классы, уже растоптали, растоптали, измежевали, измежевали его, освежевали жесткую осклизлую землю. По снежной колее бежал грязный ручеек. Окончательно снег становился снегом на ступенях, маркизах и фасадах особнячков. Карнизы, гребни, грузные нагромождения легких частиц не утяжеляли линий, но распространяли вокруг какое-то летучее волнение, предчувствие, и из-за этого снега, светившегося собственным светом, мягким, как у фосфоресцирующих часов, душа роскоши пробивалась сквозь камень, становилась зримой, превращалась в бархат, делая подворье маленьким и уютным, мебелируя его, зачаровывая, преображая в призрачный салон.

Внизу было куда менее уютно. Газовые рожки скверно освещали что-то вроде опустелого поля битвы. Заживо ободранная земля выставляла напоказ неровные бульжники в прорехах ледяной глазури; валы грязного снега у водостоков вполне годились для засады, зловердный ветерок то и дело

прибывал язычки газа, и темные закоулки уже врачевали своих мертвецов.

Отсюда вид менялся. Особнячки больше не были ложами некоего странного театра, а становились просто-напросто жилищами, намеренно не освещенными, забаррикадированными от вражеского набега.

Ибо снег лишал квартал его атмосферы вольной площади, открытой жонглерам, шарлатанам, палачам и торговцам. Снег закреплял за ним особый статус, безоговорочно определял ему быть по-лем боя.

С четырех десяти битва так разыгралась, что стало небезопасно высовываться из подворотни. В этой подворотне собирались резервы, пополняясь новыми бойцами, подходившими поодиночке и по двое.

— Даржелоса видал?

— Да... нет, не знаю.

Ответ был дан школьником, который вдвоем с другим поддерживал одного из первых раненых, уводя его под арку подворотни. Раненый с обмотанной платком коленкой прыгал на одной ноге, цепляясь за плечи спутников.

У задавшего вопрос было бледное лицо и печальные глаза. Такие глаза бывают у калек; он хро-мал, а пелерина, ниспадавшая до середины бедра, скрывала, казалось, не то горб, не то искривление — какое-то необычное уродство. Внезапно он откинул назад полы пелерины, подошел к углу, где были свалены в кучу школьные ранцы, и стало видно, что его хромота и кривобокость — маскарад, просто он так носит свой тяжелый кожаный ранец.

Он бросил ранец и перестал быть калекой, однако глаза остались прежними. Он направился к месту боя.

Справа, на тротуаре под сводом, допрашивали пленного. Газовый рожок, мигая, освещал сцену. Четверо держали пленника (младшеклассника), усадив его спиной к стене. Один, постарше, присев у него между ног, дергал его за уши и корчил ужащающие рожи. Безмолвие этого чудовищного лица, все время меняющего форму, приводило жертву в ужас. Пленник плакал и старался зажмуриться или отвернуться. При каждой такой попытке стражатель зачерпывал горсть серого снега и надраивал ему уши.

Бледный школьник обогнул эту группу и двинулся сквозь перестрелку.

Он искал Даржелоса. Он любил его. Эта любовь снедала его тем сильнее, что опережала осознание любви. То была смутная, неотступная боль, от которой нет никакого лекарства, чистое желание, бесполое и бесцельное.

Даржелос был петухом школьного курятника. Он признавал соперников или соратников. А бледный мальчик всякий раз совершенно терялся, стоило ему увидеть перед собой спутанные кудри, разбитые коленки и куртку с карманами, полными тайн.

Бой придавал ему храбрости. Он побежит, найдет Даржелоса, будет биться рядом, защищать его, покажет ему, на что способен.

Снежинки порхали, осыпали пелерины, звездами мерцали на стенах. То там, то здесь в просветах тьмы взгляд выхватывал кусок лица, красного, с открытым ртом, руку, указывающую на некую цель.

Рука указывает на бледного школьника, который оступился, собираясь кого-то окликнуть — среди стоящих на крыльце он узнал одного из вассалов своего кумира. Этот-то вассал и выносит ему приговор. Он открывает рот: «Дар-же...»- и тут же снежок вlepляется ему в губы, во рту снег, зубы немеют. Он успевает заметить только чей-то смех и рядом — Даржелоса, окруженного своим штабом, растрепанного, с пылающим лицом, заносащего руку гигантским взмахом.

Удар приходится ему прямо в грудь. Темный удар. Мраморным кулаком. Кулаком статуи. Голова становится пустой. Ему видится Даржелос на каких-то подмостках, с глупым видом уронивший руку, залитый неестественным светом.

Он лежал на земле. Кровь, хлынувшая изо рта, окрашивала подбородок и шею, впитывалась в снег. Послышались свистки. В одну минуту подворье опустело. Только немногие любопытные теснились вокруг тела и, не оказывая никакой помощи, жадно глядели на окровавленный рот. Одни боязливо отходили, щелкнув пальцами, выпячивали губу, поднимали брови, покачивали головой; другие с разбегу подкатывались к своим ранцам. Группа Даржелоса оставалась неподвижной на ступенях крыльца. Наконец появились надзиратель и швейцар, вызванные школьником, которого пострадавший, отправляясь в бой, назвал Жераром. Он показывал им дорогу. Двое мужчин подняли раненого; надзиратель окликнул тень:

— Это вы, Даржелос?

— Да, мсье.

— Идите за мной.

И маленький отряд двинулся в путь.

Привилегии красоты неизмеримы. Она действует даже на тех, кто ее не признает.

Учителя любили Даржелоса. Надзиратель был крайне удручен этим необъяснимым происшествием.

Мальчика отнесли в швейцарскую, где жена швейцара, славная женщина, умыла его и попыталась привести в чувство.

Даржелос стоял в дверях. За дверью теснились любопытные головы. Жерар плакал и держал друга за руку.

— Рассказывайте, Даржелос, — сказал надзиратель.

— Да нечего рассказывать, мсье. Кидались снежками. Я в него кинул. Наверно, снежок оказался крепкий. Ему попало в грудь, он охнул и упал. Я сперва думал, ему разбило нос другим снежком, оттого и кровь.

— Не может снежок проломить грудь.

— Мсье, мсье, — вмешался тут школьник, отзывавшийся на имя «Жерар», — он облепил снегом камень.

— Это правда? — спросил надзиратель.

Даржелос пожал плечами.

— Не отвечаете?

— А что толку? Смотрите, он открывает глаза, у него и спросите...

Пострадавший приходил в себя. Он перекатил голову на рукав товарища.

- Как вы себя чувствуете?
- Простите...
- Не извиняйтесь, вы нездоровы, у вас был обморок.
- Я помню.
- Вы можете сказать, из-за чего упали в обморок?
- Мне попали в грудь снежком.
- От снежка не падают без чувств!
- Ничего другого не было.
- Ваш товарищ утверждает, что в снежке был камень.

Пострадавший видел, как Даржелос пожал плечами.

— Жерар псих, — сказал он. — Ты что, сдурел? Это был снежок как снежок. Просто я бежал, и, наверно, кровь в голову ударила.

Надзиратель перевел дух.

Даржелос уже выходил. Но тут шагнул назад, и все подумали, что он идет к раненому. Поравнявшись с прилавком, где швейцар продавал пеналы, чернила и сладости, он помедлил, вынул из кармана мелочь, положил на прилавок и взял клубок похожей на шнурки для ботинок лакрицы, которую любят школьники. Пересек швейцарскую, поднес руку к виску в подобии воинского салюта и исчез.

Надзиратель собирался сопровождать потерпевшего. Автомобиль, за которым он послал, уже стоял наготове, когда Жерар стал убеждать надзирателя, что этого не нужно делать, что его появление испугает семью и что он сам отвезет больного домой.

— И вообще, — добавил он, — смотрите, Полю уже лучше.

Надзиратель не слишком стремился ехать. Валил снег. Ученик жил на улице Монмартр.

Он проследил за посадкой в автомобиль и, увидев, как юный Жерар укутывает товарища собственным шарфом и пелериной, счел, что может спокойно сложить с себя ответственность.

* * *

Автомобиль медленно катился по обледенелой дороге. Жерар глядел на жалко мотающуюся голову в углу. Скосив глаза, он видел запрокинутое, светящееся бледностью лицо. Едва угадывались закрытые глаза и только тень ноздрей и губ, вокруг которых еще оставались присохшие кровяные корочки. Он шепнул: «Поль...» Поль слышал, но невероятная усталость мешала ему ответить. Он выпростал руку из-под пелерины и положил ее на руку Жерара.

Перед лицом такого рода опасности детство совмещает две крайности. Не ведая, как глубоко коренится жизнь и сколько силы у нее в запасе, оно сразу воображает худшее; но это худшее кажется ему совершенно нереальным из-за невозможности представить себе смерть.

Жерар твердил про себя: «Поль умирает, Поль сейчас умрет», — и не верил в это. Смерть Поля казалась ему естественным продолжением сновидения, путешествием сквозь снегопад, которое будет длиться без конца. Ибо, любя Поля, как Поль любил Даржелоса, притягательную силу Поля Жерар видел в его слабости. Раз уж Поль не сводит глаз с огня-Даржелоса, дело Жерара, сильного

и правильного, — присматривать за ним, караулить, оберегать, не давать ему обжечься. Надо же ему было свалить такого дурака в подворотне! Поль искал Даржелоса, Жерару захотелось удивить его своим равнодушием, и то же чувство, что толкало Поля в битву, заставило его остаться на месте. Он видел издали, как тот упал, окровавленный, и поза лежащего была из тех, что удерживают зевак на расстоянии. Побоявшись, что, если он подойдет, Даржелос с компанией не дадут ему оповестить о несчастье, Жерар побежал за помощью.

Теперь он вновь обретал привычный ритм, он оберегал Поля: он был на своем посту. Он унес Поля. Вся эта полувявь возносила его в область экстаза. Беззвучие автомобиля, фонари и его миссия соединялись в некое волшебство. Казалось, слабость его друга затвердевает, обретает величие завершенности, а его собственная сила находит, наконец, достойное применение.

Внезапно он вспомнил, что обвинил Даржелоса, что его слова были продиктованы злостью и несправедливы. Ему вновь представилась швейцарская, мальчик, презрительно пожимающий плечами, голубые глаза Поля — укоряющие глаза, нечеловеческое усилие, сделанное им, чтоб выговорить: «Ты что, сдурел?» и обелить виновного. Он отстранил неприятное воспоминание. У него было оправдание: в железных руках Даржелоса комок снега мог стать снарядом не менее преступным, чем его карманный нож о девяти лезвиях. Поль наверняка все это забудет. Главное — любой ценой вернуться в реальность детства, реальность важную, героическую, тайную, которую питают сми-

ренные мелочи, в то волшебство, которое расспросы взрослых так грубо нарушают.

Автомобиль катил в распахнутое небо. Мимо пробегали встречные звезды. Их огоньки расплывались в шероховатых окнах, по которым хлестали снежные шквалы.

Вдруг возникли звуки — две чередующиеся жалобные ноты. Они становились надрывными, человеческими, нечеловеческими, задрожали стекла, и пронесся вихрь пожарников. Сквозь процарапанные по инею зигзаги Жерар успел разглядеть основания громад, с воем следовавших друг за другом, красные лестницы, аллегорические фигуры в золотых касках.

Красный отсвет плясал на лице Поля. Жерар подумал, что к нему возвращаются живые краски. Когда вихрь миновал, оно снова помертвело, и тут Жерар заметил, что рука в его руке теплая и что эта успокоительная теплота позволяет ему играть в Игру. Игра — термин очень неопределенный, но именно так называл Поль полусознание, в которое погружаются дети; в этом ему не было равных. Он подчинял себе пространство и время; прибирал к рукам грезы, переплетал их с реальностью, умел жить между светом и тенью, творя на уроке свой мир, в котором Даржелос поклонялся и повиновался ему.

«Может, он играет в Игру?» — думает Жерар, сжимая теплую руку, жадно вглядываясь в запрокинутое лицо.

Не будь Поля, этот автомобиль был бы просто автомобилем, снегопад — снегопадом, фонари — фонарями, поездка — поездкой. Сам он был слиш-